Илья Каминский

музыка народов ветра

AILUROS
PUBLISHING

ΑΊΛΟΥΡΟΣ

Илья Каминский

Музыка народов ветра

Избранные стихотворения

Перевод с английского
Анастасии Афанасьевой

Ailuros Publishing
New York
2012

Ilya Kaminsky
Selected Poems
Translated by Anastasia Afanasieva

Ailuros Publishing
New York
USA

Подписано в печать 2 мая 2012 г.

Художник обложки — Ирина Глебова.
Верстка, дизайн обложки: Елена Сунцова.

Прочитать и купить книги издательства Елены Сунцовой «Айлурос» можно на его официальном сайте: **www.elenasuntsova.com**

Poems, copyright © 2012 by Ilya Kaminsky. All rights reserved.
Reprinted by Ailuros Publishing with permission of the author.
Traslations, copyright © 2012 by Anastasia Afanasieva. All rights reserved.

ISBN 978-0-9838762-8-1

Ilya Kaminsky

Молитва автора

Чтобы говорить от имени мертвых, я должен оставить
животную сущность собственного тела,

я должен сочинять одно и то же стихотворение снова и снова,
ибо чистый лист — это белый флаг капитуляции перед ними.

Чтобы говорить за них, я должен пройти по границе
себя самого, я должен жить, как слепой,

бегущий по комнатам,
не задевая мебели.

Да, я живу. Я могу переходить улицы, спрашивая: «Какой теперь год?»
Я могу танцевать во сне и смеяться

перед зеркалом.
Даже сон — это молитва, Господи,

я буду воспевать твое безумие, и,
на чужом языке, говорить

о музыке, что пробуждает нас, музыке,
внутри которой мы движемся. Ибо что бы я ни говорил —

это в своем роде прошение или молитва, и самые темные
дни должен я прославлять.

ТАНЦУЯ В ОДЕССЕ

Похвала смеху

Там, где сгибаются и выпрямляются дни,
в городе, не принадлежащем ни одному народу,
кроме всех народов ветра,

она говорила на языке тополей —
ее уши дрожали, когда она говорила, тетя Роза
слагала оды парикмахерским и аптекам.

Ее идущая на двух ногах душа, или не душа, пособие на ребенка,
она любила уличных музыкантов и знала,
что мой дедушка писал лекции о спросе

и предложении на облака в нашей стране;
Государство объявило его врагом народа.
Он бежал вслед за поездом с помидорами в плаще

и танцевал голым на столе перед нашим домом —
его расстреляли, а бабушку изнасиловал
прокурор, воткнувший свою ручку ей во влагалище,

ручку, что списывала людей на двадцать лет.
Но в тайной истории ярости — *молчание одного человека*
живет в телах других — пока мы танцуем, чтобы избежать падения,

между врачом и прокурором:
моя семья, жители Одессы,
полногрудые женщины, старики — наивные, будто дети,

все наши слова — куча горящих перьев,
что становится больше и больше с каждым пересказом.

Маэстро

Что такое память? Из-за нее тело накаляется и горит:
бомбят яблочный сад и школу в Молдове

во время бомбежки школ грустить запрещено
— я пишу это и чувствую вес собственного тела:

кричащие девочки, 347 голосов
в рассказе спасающего их врача, его руки

сдавлены обрушившейся стеной, его внучка, умирающая неподалеку,
шепчет *я не хочу умирать, я съела такие вкусные яблоки*

он смотрит на ее рот, как читающий по губам слепой,
и кричит: *Замолчи! Я возле окна, я*

зову на помощь! Говорить,
он не может прекратить говорить, в темноте,
он рассказывает о Брамсе, Шопене, пытаясь их успокоить.
Врач, какое бы окно

ни обрамляло его жизнь: снаружи росли помидоры, проплывали облака, мы
однажды жили; врач с татуировкой в виде попугая на угодившей в ловушку руке,

смотрящий на скулы своей внучки —
больше не ее скулы, с хирургической точностью

сшивает страдание и красоту:
проходит два дня, он кричит

в окно (нет никакого окна), когда помощь
приближается, он говорит о Шопене, Шопене.

Они отрезают ему руки, медсестры говорят: «У него все в порядке» —
в моих снах: он стоит, кормя голубей хлебом, окруженный

голубями, птицы на голове, плечах,
он кричит *Вы ничего не понимаете!* Он

засыпает, город спит,
такого города нет

Тетя Роза

В военной форме, в деревянных ботинках, тетя Роза
танцевала в обеих сторонах дня.
Ее муж спас беременную женщину

из горящего дома — он услышал смех,
маленькую артиллерию наших дней, — в пожаре
он сжег свои гениталии. Тетя Роза

заботилась о чужих детях — она прищелкивала языком, когда они плакали,
август опускал шторы вечер за вечером
Я видел ее, с мелом в руке,

она писала уроки на пустой доске.
Рука двигалась, а доска оставалась чистой.
Мы жили в городе у моря, но был

еще один город на дне моря,
и только местные дети верили в него.
Она им верила. Она вешала фотографию

своего мужа в комнате на стене. Каждый месяц
на новой стене. Я вижу ее сейчас с фотографией, молотком
в левой руке, гвоздем во рту

У нее изо рта пахнет чесноком —
она приближается ко мне в пижаме,
споря со мной и с самой собой.

Вечера — мои доказательства, этот вечер,
в который она погружает руки по локти,
вечер спит внутри ее плеча — плеча,

закругленного сном.

Танго моей матери

Я вижу ее окна, открытые во время дождя, висящее в окнах белье —
она скачет на белом пони в честь моего дня рождения,
на белом пони на седьмой этаж.

«И где мы будем держать его?» «На балконе!»
Пони, ржущий на балконе на протяжении девяти недель.
В центре моей жизни: мама танцует,

здесь, как в детстве, мама
просит описать сцены моего счастья —
она говорит о супах, она рассказывает о них:

среди полков блюдец и полотенец,
она движется так быстро — она неподвижна,
открывая и закрывая двери.

Но что было счастьем? Пони на балконе!
Прошлое моей матери, плащ, который она носила на плечах.
Я провожу ось через дневное время,

чтобы увидеть ее, шестидесятилетнюю, соблазняющую иностранный язык —
молодая, немолодая — мама
скачет галопом на пони на седьмой этаж.

Она превращается в незнакомку и играет себя, открывает
то, что закрыто, закрывает то, что открыто.

Американский турист

Мы танцевали на крыше в городе, построенном из морских водорослей,
я держал руки у нее под грудью. Вычитая дни друг из друга,
я прибавляю лодыжки этой женщины

к моим дням искупления, ее нижнюю губу, симметричные кости лица.
Мы весь вечер занимались любовью —
я рассказывал ей истории, говорил о ритуалах дождя: если счастье —

деньги, то лишь самые мелкие монеты.
Она просила меня молиться, кланяться
в сторону Иерусалима. Мы кланялись востоку, я видел

две булочные, обувной магазин; запах сена,
запах лошадей и сена. Когда Моисей на Синае
разбил священные таблицы, богатые

подобрали осколки с надписями:
«прелюбодействуй» и «убий» и «укради»,
а беднякам досталось только «Не» «Не» «Не»

Я поцеловал ее шею сзади, локоть,
эта женщина, забывание которой — заговор против забывания,
вальсировала голая в своих галошах,

и даже ее кот вальсировал.
Она сказала: «Все, что в нас есть музыкального — это память» —
но я не знал английского, я танцевал,

приседая, она выпрямлялась
и сгибалась, и выпрямлялась, дрожание музыки,
дрожание ее рук.

Танцуя в Одессе

Мы жили к северу от будущего, дни распечатывали
письма, подписанные ребенком, малина, страница неба.

Моя бабушка бросала помидоры
с балкона, укрывала мою голову воображением,
как одеялом. Я рисовал
мамино лицо. Она знала толк
в одиночестве, прятала мертвых в земле, как партизан.

Ночь раздевала нас (я считал
ее пульс) мама танцевала, наполняла
прошлое персиками, кастрюлями. Мой врач смеялся, его дочь
касалась моего века — я целовал

ее коленку с внутренней стороны. Город дрожал,
корабль призраков собирался в плавание.
И мой одноклассник придумал двадцать имен для евреев.
Он был ангелом, у него не было имени,
мы боролись. Мой дедушка сражался

с немецкими танками на тракторе, я хранил чемодан, полный
стихов Бродского. Город дрожал,
корабль призраков собирался в плавание.
Ночью я проснулся, чтобы прошептать: да, мы жили.
Мы жили, не говорите, что это сон.

На местной фабрике мой отец
набрал пригоршню снега и положил мне в рот.
Солнце начало привычное повествование,
выбеляя их тела: мать, отец танцевали и двигались,
пока темнота говорила за их спинами.
Был апрель. Солнце умыло балконы, апрель.

Я пересказываю историю, которую свет
гравирует на моих руках: *Маленькая книжка, иди в город без меня.*

MUSICA HUMANA

Musica Humana

Элегия для Осипа Мандельштама

[Современный Орфей: его отправили в ад, откуда он уже не вернулся назад. В это время вдова разыскивала его по всей одной шестой части суши, с кастрюлей в руках, внутри которой лежали сложенные листы его песен. Она учила их наизусть по ночам на случай, если их найдут фурии во время обыска.]

Пока на странице еще остается немного света,
в чужом пальто, он сбегает вместе с женой.
Одежда пахнет потом;
следом бежит собака,
облизывая землю, по которой они шли.

В кухне, на лестничной клетке, перед туалетом
он покажет ей путь тишины,
радио останется вещать самому себе.
Они занимаются любовью в темноте,
но у соседа есть бинокль,
он наблюдает, на его веки садится пыль.

В 30-е годы: Петербург — замерзший корабль.
Соборы, кафе, они идут
по Невскому проспекту, пока Новое Государство
вонзает в них свои булавки.

[В Крыму он собрал вместе богатых «либералов» и сказал им строго: «Если в Судный день вас спросят, понимали ли вы поэта Осипа Мандельштама, отвечайте *нет*. Кормили ли вы его? — Вы должны ответить *да*».]

Я читаю вслух книгу моей земной жизни
и признаюсь: я любил грейпфрут.
На кухне: колбаса, люди поднимают
рюмки с водкой.
Я, мальчик в белой рубашке, погружаю палец
в сладость. Мама моет
у меня за ушами. И мы говорим обо всем,
что не сбудется,
то есть: шел август.
Август! Свет в деревьях, полных ярости. Август
наполняет руки речью со вкусом дыма.
Теперь, память, налей немного пива,
натри солью ободок стакана; ты,
которая пишет меня, получай же, что хочешь:
мой язык и золотую монету:
положить под ним.

(*Он*, *младший брат облака,*
идет, небритый, в темно-зеленых штанах.
В соборах: падает на колени, умоляя СЧАСТЬЯ!
Его слова на полу — скелеты мертвых птиц)

Да, я любил. Умывал руки. Говорил
о земной преданности. Теперь смерть,
возлюбленный мальчик, пересчитывает мои пальцы.

Я сбегаю и попадаюсь, снова сбегаю
И попадаюсь, сбегаю

и попадаюсь: в этой песне
певец — глиняная фигура,

поэзия — подлинное я,
я стараюсь перед ним устоять. Где-то там:

Санкт-Петербург стоит,
как утраченная юность,

чьи церкви, корабли и гильотины
ускоряют наши жизни.

[Летом 1924 года Осип Мандельштам привез свою молодую жену в Петербург. Надежда была, как говорят французы, *laide mais charmante*. Эксцентрик? Конечно, он был эксцентриком. Он сбросил студента с лестницы за то, что тот жаловался на отсутствие публикаций: *«А Сафо печатали? А Иисуса Христа?»*]

Поэт — это голос, говорю я, словно Икар
шепчется с самим собой во время падения.
Да, моя жизнь, как сломанная ветром ветка,
падает на северную землю.
Сейчас я пишу историю снега,
свет лампы омывает корабли,
плывущие по странице.

Но в определенные дни
Республика Псалмов открывается,
и во мне растет страх того, что я умер, жил
слишком мало для того, чтобы
вырезать этот восторг внутри гласных, услышать
всплески чистой, библейской речи.

Я читаю Платона, Августина, одиночество их слогов,
пока Икар продолжает падать.
Читаю Ахматову, ее глубокая тяжесть
связывает меня с землей,
ореховые деревья на террасе дышат
сухим воздухом, дневным светом.

Да, я жил. Государство подвесило меня за ноги, я видел
сыновей Санкт-Петербурга, лебедей,
изучил грамматику воинства чаек,
и обнаружил себя всегда
идущим по улице Пушкинской, пока память,
сидящая в углу, стирает меня губкой.

Да, я ошибался: в постели
сравнивал правительство
со своей девушкой.

Правительство! Надменная рука цирюльника
сбривает кожу.
Мы все радостно танцуем вокруг него.

[Он сидел на краешке стула и мечтал вслух о вкусных обедах. Он писал стихи не за столом, а на улицах Петербурга; восхищался образом петуха, рассекающего песней ночную тьму под стенами Акрополя. Он, заключенный, стучал в дверь камеры: «Вы должны выпустить меня, я не был создан для тюрьмы».]

Один или два раза в жизни человека
очищают от кожуры, как яблоко.

Остается голос,
проникающий в его существо

до самой сердцевины.
Мы видим: пошлость, страх, грязь

но всегда существует радость формы,
тишина
никогда не одна.

— между этим местом и Невским проспектом
простираются годы, похожие на птиц —

Молитесь за этого человека,
жившего на хлебе и помидорах,

пока собаки цитировали его стихи
на каждой улице.

Перечисляйте: «март», «июль»,
сшейте их нитью —

пришло время, Господи,
настаивать на значении этих слов
перед лицом твоей тишины.

*

Это история человека, сбегающего
и попадающего в ловушку

обыденности вечеров:
после занятий любовью, он садится

на кухонный пол, глаза широко открыты,
и говорит о пустоте Бога,

по образу и подобию которого мы сотворены.
— *он вне игры* — посреди серебряной посуды

и грязи он целует жену в шею,
так, что у нее напрягается кожа на животе.

Кто-то мог бы подумать о мальчике,
что языком раскладывает слоги

на коже женщины: эти строки
полностью сотканы из тишины.

[

[**Надежда поднимает глаза от страницы и говорит**: «Мы стояли с Ахматовой и Осипом, когда Мандельштам вдруг растаял от радости: несколько маленьких девочек пробежали мимо нас, играя в лошадок. Первая остановилась и нетерпеливо спросила: «Где последняя лошадка?» Я схватила Мандельштама за руку, чтобы помешать ему включиться в игру; Ахматова, тоже предчувствуя опасность, прошептала: «Не убегай от нас, ты *наша* последняя лошадка».]

— когда я умру, пойду босой через всю страну,
тут зима возводит крепчайшее
одиночество, тракторы прорываются к звездам
и несутся через ясную речь:
мне двадцать три, мы живем в коконе,
бабочки спариваются.
Осип погружает пальцы в огонь; он
просыпается рано, гуляет по округе
в своих сандалиях. Пишет медленно.
Молитвы
спускаются в комнату. Мотыльки
наблюдают за ним из-за окна. Когда он
проводит языком по моей коже, я вижу
его лицо снизу,
его болезненную ясность
— так говорит Надежда,
стоя в оранжевом свете,
ее тихие руки обращаются
к самим себе:

Господи, Бог Авраама, Исаака и Иакова,
на своих весах Добра и Зла
поставь тарелку теплой еды.

*

Когда мой муж вернулся
из Воронежа, он прятал во рту
серебряную ложку —

в его снах тиран, как волк,
бежал по Невскому проспекту
за его прошлым,
волк с глазами, полными сна.

Он верил в человека. Не мог
излечиться от Петербурга. Он
помнил наизусть
номера телефонов
умерших.

А что он говорил тихим голосом! —
от островов несказанных слов остались только следы.
Когда он оскорбил Толстого,
то сделал это блестяще.

Когда они увели моего мужа, все слова
из книги исчезли.
Они смотрели на него, пока он говорил:
на гласных оставались следы зубов.

И они сказали: вы должны оставить его в покое,
за его спиной
уже кружатся и падают камни.

[У Осипа были густые и длинные, до середины щек, ресницы. Мы шли по Пречистенке, о чем-то говорили — не помню, о чем. Свернули на бульвар Гоголя, Осип сказал: «Я к смерти готов». Во время его ареста они везде искали стихи. Мы сидели в комнате. За стеной у соседей звучала гавайская гитара. В моем присутствии один из проводивших обыск нашел «Волка» и показал Осипу. Он едва заметно кивнул. Уходя, он поцеловал меня. Его увели в 7 утра.]

В заключительной сцене Мандельштам
стоит с комом земли, отламывает от него
кусочки и бросает в прохожих. Ты узнаешь его, Господи:

— он ненавидел Царское Село,
говорил Маяковскому: «Не нужно читать свои стихи,
Вы не румынский оркестр».
Какой была гармония? Она запутывалась
и распутывалась, как нитки; Надежда говорила, что внутри ее падал снег,
цыплята пищали по всему телу.

Надежда, ее Да и Нет трудно
произнести раздельно. Она танцует, юбка замялась между бедер,
свет делается ярче.
Где бы он ни был,
он с любовью целует мочки ее ушей, брови,
сплетая дни в узлы.
Он путешествует по кухне, дотрагиваясь до мебели,
с небольшим пропеллером в голове,

вращающимся, пока он говорит. На улице
мальчик справляет нужду у дерева, попрошайка
мучает кота — тем летом 1938-го —
стены были горячими, солнце разбивалось
о камни города,
того «города, что любил говорить *да* сильным».

В заключительной сцене он натирал ей ноги молоком.
Она открывала свое тело, ложилась на его живот.
Мы встретимся в Петербурге, говорил он,
там мы похоронили солнце.

Musica Humana

Его звали Осип, но, то ли шутя, то ли пытаясь скрыть его настоящее имя, мы называли его Овидием. Легенда гласит, что Овидий воровал розы. Ночью он уносил под одеждой десятки роз из городского парка, а утром продавал их на железнодорожной станции. Овидий прославился, когда украл плащ Губернатора и продал его главному Городскому судье. Во время визита к Судье он угнал лошадь и пошел к Губернатору продавать ее. Там он сказал, что видел пропавший плащ на Судье. Губернатор оседлал украденную лошадь и поскакал к ее законному владельцу, чтобы потребовать назад свою драгоценную собственность. Что касается Овидия, то он переехал в Аргентину и стал поваром. Пока супы выкипали из кастрюли с надписью «одержимость», он пел колыбельные самому себе и засыпал между печкой и столом.

«Холодный мятно-огуречный суп»

2 столовых ложки масла
Стакан чистого йогурта
1 луковица (нарезанная)
1 зубчик чеснока
3 огурца (нарезанных ломтиками)
2 столовых ложки рисовой муки
2 стакана куриного бульона
2 столовых ложки свежей мяты (измельченной)
Соль и перец

Растопите масло с чесноком, луком, огурцом. Варите до мягкости. Добавьте бульон. Перемешайте, доведите до кипения и варите до состояния однородного пюре. Добавьте мяту, охладите. Перед подачей блюда добавьте йогурт. Перемешайте.

«Я расскажу тебе историю», — сказал Овидий. Я покачал головой — нет, спасибо. «Ах, романтичный мальчик с чистым сердцем! Никогда не зарывали тебя в землю, никогда не знал ты изумительного вкуса жертвенного мяса! Так послушай —

На шестом десятке мой дядя заболел. Двое его братьев пошли по домам собирать “список дней”. Они просили соседей вписать в него один-два дня собственной жизни и подписаться напротив своей строки. Когда они пришли к Наталье, молодой соседской девушке, тайно в него влюбленной, она написала: “Я отдаю тебе всю мою оставшуюся жизнь”. И подписалась. Даже его братья пытались отговорить ее. Они спорили, приводили доводы: она ничего не хотела слышать. “Всю мою оставшуюся жизнь, — сказала она, — такова моя воля”.

На следующее утро мой дядя проснулся улыбающимся, а тело девушки было найдено в полдень в ее мокрой от пота постели. Прошла зима, за ней другая. Один за другим друзья дяди умирали. Он похоронил своих братьев. Он ненавидел свое существование. Каждое воскресенье мы видели его на рынке: дядя пробовал фрукты большим пальцем, покупал персик или грушу, что-то бормотал под нос. Он разговаривал только с детьми. Однажды ночью, рассказывал он, ему показалось, будто откуда-то доносилась музыка. Пораженный, он понял — это был день свадьбы Натальи, хор, в котором она так и не спела. Год спустя, читая Талмуд, он остановился на половине страницы, услышав детский плач. Боже, — прошептал он, — сегодня должен был родиться ее ребенок — счастье, которое она не узнала. Ее жизнь, день за днем, клубилась перед ним. Он услышал музыку еще раз, гадая, то ли она означает день ее повторного замужества, то ли ранней свадьбы ее дочери. Сколько раз он просыпался ночью, умоляя Бога подарить ему смерть; но он жил. По воскресеньям мы видели его на рынке, покупающего фрукты, он внимательно пересчитывал мелочь. Однажды в июле, доставая монеты из кармана, чтобы заплатить за сливы, он начал сильно тереть свою грудь. Потом сел на дорогу, шепча, что услышал чей-то отвратительный крик. Мы поняли».

Тост

Если чего-то действительно желаешь, это не пустые мечты.

Теодор Герцль

Октябрь; висящие гроздья винограда, словно
кулачки девушки, сжатые в молитве. Память,
шепчу я, — не смыкай глаз.

В моих венах
долгие слоги натягивают свои веревки, дожди идут
прямо из идиша восемнадцатого века
или еще более темного языка, состоящего
из одного слова — воображение.

Воображение! Молодая девушка танцует польку,
бесстрашная, узнавшая предательство в смерти Бога
(или в том, как он прятался под кроватью,
когда откладывалось прибытие Мессии).

В моей стране вечера приносят дождевую воду,
тополя покрываются бронзой в том же свете, что искрится
на этих страницах, где я, мои отцы,
неспособный описать ваши сны, пью
тишину из чашки.

НАТАЛЬЯ

Наталья

Наталья:

Ее плечо: ода вечеру.

Я обещаю, что научу ее управлять лошадью, и мы поскачем в Мехико, Анголу, Австралию. Я хочу, чтобы она представила наши скандальные дни в Одессе, когда мы откроем небольшой магазин сладостей — исключительно для ее любовников и моих соседей (которые пригоршнями воруют молочный шоколад). У нас не будет покупателей.
В пустом магазине, танцуя между стойками с засахаренными орешками, высушенными гвоздиками, банками с мятой и вишней в меде, мы будем шептать друг другу наши самые правдивые истории, потому что фантазировать уже вошло в привычку.

Ее подколенная ямка: благословенное место, там я храню свои желания.

Когда я открываю «Tristia», вечер раскидывает сети,
любимая женщина спешит с парковки.
Ты сбежишь, — говорит она, — я так и вижу:
железнодорожная станция, скользкие полы, сиденье.

Я прошу ее оставить меня одного внутри моего детства,
где люди ходят по улицам с флагами.
Они тоже говорят: оставь нас в покое,
будто имеют власть, но это не так.

Она яростно наступает, поднимает руку
и запускает ее в мои волосы. Справа я прячу шрам,
она проводит по нему языком
и засыпает с моим соском во рту.

Но позади меня Наталья переворачивает страницы,
сбывшееся и несбывшееся
должно говорить и петь по очереди.
Наталья, мой летописец, я предлагаю тебе две чашки воздуха,
в который ты погружаешь свой мизинец, оближи его досуха.

Начало этого стихотворения: «Поздний январь, темнота написана на деревьях чьей-то невидимой рукой». Во время нашего разговора она расчесывает волосы у зеркала. С волос стекает вода, падают листья. Я раздеваю ее, веду языком по коже. «Картошка! — говорит она мне, — я пахну, как картошка!» Я касаюсь пальцами ее губ.

В ночь, когда мы встретились, раввин пел и тосковал,
на его бровях — Божий поцелуй, в руках — Тора.
— я снимал с нее чулки, волнуясь

о том, что больше не волнуюсь.
Она спала в моей постели — я спал на стуле,
она спала на стуле — я спал на кухне,

она забыла тапочки у меня в душе, в моей Торе,
ее тапочки в каждом предложении моей речи.
Я сказал: те, кого я люблю — умирают, стареют, рождаются.

Но я люблю упрямство твоего постельного белья!
Я кусаю его, пробую на вкус —
сладкое устройство подушек и покрывал.

Серьезная женщина, она танцевала
без рубашки, прикрывая, что могла.
Мы лежали вместе на Йом Киппур, избранные не тем Богом,

люди книги, разведенные книгой.

Я собираюсь прекратить это, я не намерен больше цитировать в уме стихотворения. Ей это нравилось. Она носила плакаты с протестными лозунгами против плакатов. Каждую ночь она приносила мне пиво и фаршированный перец. Она говорила и говорила и говорила с магнитофонной ленты. Одна кнопка могла заставить ее замолчать. Но ее речь поднималась к моим плечам, бровям.

«Позволь мне поцеловать твою локтевую ямку,
Наталья, сестра заботливых» —
говорил он благодарно, его пальцы

дрожали, когда он говорил.
Она расстегивала две пуговицы его брюк —
чтобы выучить два языка:

один для лодыжек, и один для памяти.
Или, возможно, она считала плохой приметой
присутствие одетого мужчины в доме.

Карандашом для бровей она дорисовывала
ему усы: их вид вызывал в ней желание
дотронуться до него, и она не дотрагивалась.

Она распахивала свой халат и
запахивала его, распахивала и запахивала снова,
она шептала: иди сюда, беспокойный —

он шел за ней следом на цыпочках.

«Мне не нужна синагога, — говорила ты, — я могу молиться внутри своего тела». Ты спала, не укрываясь. Я не мог отличить отъезд от прибытия. Ты говорила вовнутрь моих дважды отклонившихся слов — ты кричала, когда открывала двери, и открывала каждую дверь в тишине.
Кто-то еще пишет — здесь, на этой странице. Я пытаюсь работать пальцами быстрее, чем она.

Вот уже восемь лет, как мы полюбили друг друга.
Восемь лет. Осторожно, словно анатом, я препарирую это число:
мы жили с тремя котами в пяти городах,

узнавали незаметное человеческое старение.
Восемь лет! Восемь! — мы охлаждали водку с лимоном и целовались
на полу, среди лимонных корок.

Каждую ночь мы вставали и видели самих себя:
мужчина и женщина, коленопреклоненные, шепчущие *Боже*,
одно слово, что рассыпается в попытке его прояснить.

Как же волшебно жить! на рынке шел дождь,
моими пальцами она выстукивала свои ямбы
на дне нашей самой большой кастрюли,

и мы пели: *Сладкие доллары,*
почему вы не у нас в карманах?

(И вдруг) радость дней входит в меня. Она только и делала, что танцевала под абрикосами в общественном парке. Она, любопытная женщина в очках, чьи запросы ограничивались абрикосовыми деревьями. Я писал: «Касаюсь ее уха нижней губой». Она смотрела на эти строки и смеялась, я в это же время читал через ее плечо. Я устанавливал мои вечерние часы в такт ее голосу.

Посланник

«Ты умрешь на пароходе, идущем из Ялты в Одессу»

Гадалка, 1992 г.

Что связывает меня с землей? В Массачусетсе
птицы стремительно влетают в мои строки —
море повторяет само себя, повторяет, повторяет.

Я благословляю пароход, идущий из Ялты в Одессу
и каждого пассажира, их кости и гениталии,
благословляю небо внутри их тел,
небо — мое лекарство, небо — моя страна.

Я благословляю континент чаек, их уклад и порядки.
Мой учитель, ветер,
настаивает на радости тополей и ласточек, —

благословляю брови этой женщины, ее губы,
их соленый вкус, благословляю округлость
ее плеч. Ее лицо, маяк,
в свете которого я проживаю свою жизнь.

Ты можешь видеть нас, Господи,
ее — женщину, танцующую с закрытыми глазами,
меня — мужчину, спорящего с ней
среди тумбочек, столов и стульев.

Господи, дай нам то, что уже дано.

СТРАНА ГЛУХИХ

From the «Deaf Republic» manuscript

Be Courageous, We Said

On the balconies, sunlight, on poplars, sunlight. On my lips.
Today no one is shooting, there is just sunlight and sunlight.
A girl cuts her hair with imaginary scissors —
The scissors in sunlight, her hair in sunlight.
A boy steals a pair of cordovan boots from an arrogant man in sunlight.
I speak and I say sunlight falling inside us, sunlight.
When they shot fifty women on Tedna St.,
I sat down to write and tell you what I know:
A child learns the world by putting it in his mouth,
A boy becomes a man and a man earth.
Body, they blame you for all things and they
seek in the body what does not live in the body.

These poems are from the unfinished manuscript «Deaf Republic». This story of a pregnant woman and her husband living during an epidemic of deafness and civil unrest was found beneath the floorboards in a house in Eastern Europe. Several versions of the manuscript exist. — IK

Из цикла «Страна глухих»

Будьте храбрыми, сказали мы

Солнечный свет на балконах, солнечный свет на тополях. У меня на губах.
Сегодня никто не стреляет, повсюду только солнце и солнце.
Девочка стрижет себе волосы воображаемыми ножницами:
ножницы — солнечный свет, ее волосы — солнечный свет.
Мальчик в солнечном свете крадет ботинки из цветной кожи у надменного мужчины.
Я говорю и говорю, солнечный свет проникает в нас, солнечный свет.
Когда застрелили пятьдесят женщин на улице Тедна,
я принялся записывать для вас свое знание:
ребенок узнает мир, пробуя его на вкус,
мальчик становится мужчиной, мужчина — прахом.
Тело, они обвиняют тебя во всех грехах и ищут
в теле то, что там не живет.

Эти стихи — из незавершенной рукописи «Страна глухих», которая является историей о беременной женщине и ее муже во время эпидемии глухоты и гражданских беспорядков. Книга была найдена под половицами дома в Восточной Европе. Есть несколько вариантов рукописи. — И. К.

Wherein Sonya and Alfonso Drink in the Shower

I scrub and lather him like a salmon
until he spits
soapy water. «Pig» I smile —

«Alfonso you smell better than this country»
I throw his shoes
and glasses in the air,

take off his t-shirt and socks, and kneel
in honor of Sasha Petrov
who was amputated, in honor of Lesha Vatkii the taken.

I dip a glass in a bath-tub,
drink dirty water.
Soaping together — that

is sacred to me. Washing feet together.
You can fuck
anyone — but with whom can you sit in water?

I knew I had caught the boy
and he knew he had been caught.
He sings as I dry his chest & penis

«Sonya, I was a glad man with you —»

Соня и Альфонсо пьют в душе

Я намыливаю его и чищу, как лосося,
пока он не разбрызгивает
мыльную воду. «Свинья», — улыбаюсь я.

«Альфонсо, ты пахнешь лучше, чем эта страна»
Я бросаю его обувь
и очки в воздух,

снимаю с него футболку и носки, становлюсь на колени
в честь Саши Петрова, которого отняли,
Леши Ватного, которого увели.

Я зачерпываю стаканом грязную воду
из ванной и пью.
Мыться вместе —

священно для меня. Вместе мыть ноги.
Трахнуть можно
кого угодно — но с кем получится посидеть в воде?

Я знала, что мальчишка — мой,
и он это знал.
Он поет, пока я вытираю его грудь и член:

«Соня, с тобой я был счастливым человеком»

Alfonso Imagines his Child

To live, as the great book commands,
is to love. Such love is not enough! —

the heart needs a little foolishness!
So I fold the newspaper, make a hat.

I pretend to Sonya that I am the greatest poet
and she pretends to believe it —

my Sonya, her stories and her beautiful legs,
her stories and legs that open other stories!

(— stop talking while we are kissing!)
I see my future: a yellow raincoat,

a sandwich, a piece of tomato between my teeth,
I raise my infant daughter to the sky —

I am singing as she pisses
(Old fool, my wife laughs)

on my forehead and my shoulders!

Альфонсо представляет своего ребенка

Великая книга говорит: жизнь —
это любовь. Но такой любви мало! —

сердцу нужно немного безрассудства.
Так что я делаю шляпу из газеты,

разыгрываю перед Соней великого поэта,
а она делает вид, что верит —

моя Соня, с ее выдумками и красивыми ногами,
выдумками и ногами, открывающими дорогу новым выдумкам!

(— прекратить разговоры, когда мы целуемся!)
Я вижу свое будущее: желтый плащ,

бутерброд, между зубами застрял кусочек помидора,
я поднимаю мою маленькую дочь в небо —

я пою, а она писает
(Старый дурак, смеется моя жена)

на мои лоб и плечи!

Elegy

Yet I am. I exists. I has
a body,
When I see

my husband's slender boyish legs
the roof
of my mouth goes dry.

He takes my toe
in his mouth.
Bites lightly.

How do we live on earth, Mosquito?
If I could hear

you what would you say?
Your answer, Mosquito!

Above all, beware
of sadness

On earth we can do
— can't we? —

what we want.

Элегия

Я все еще есть. Я существует, я живет
в теле.
Когда я вижу

стройные, как у мальчика, ноги моего мужа,
у меня
пересыхает во рту.

Он берет в рот
палец моей ноги.
Нежно кусает.

Как мы живем на земле, Москит?
Если бы я могла слышать

тебя, что бы ты сказал?
Отвечай, Москит!

Прежде всего, остерегайся
грусти

В этой жизни мы можем
— разве нет? —

делать, что захотим.

Lullaby

Little daughter
rainwater

snow and branches protect you
white washed walls

and neighbors' hands, also.
child of my aprils

little earth of
six pounds —

my white hair
keeps your sleep lit.

Колыбельная

Маленькая доченька
дождевая вода —

снег и ветви защитят тебя
белые вымытые стены —

и руки соседей тоже.
дитя моих апрелей

маленькая планета
шести фунтов веса —

мои белые волосы
хранят твой сон освещенным.

Before Galya is Arrested

One morning, one morning, one morning, one morning in May
one dime-bright morning…

I say «my mother» and again «my moth—»
but she is dragging a dog

to the Saturday afternoon mass, seating
him like a good Christian.

«Daughter —
On the day of my death I will be playing piano», —

Mother didn't play piano —
There was no piano, no piano — but I thought I saw

hundreds of old pianos forming
a bridge over the waters from Batnaystan

to Alehia — and she sat at each piano —
holding her breasts in

her hands, two small explosions.

Перед арестом Гали

Однажды утром, однажды утром, однажды майским утром,
однажды утром, сверкающим, как монета…

Я говорю «мама» и еще раз «ма—»,
но она тащит собаку

на субботнюю дневную службу, усаживает ее,
как доброго христианина.

«Дочь —
в день моей смерти я буду играть на пианино» —

мама не играла на пианино —
не было никакого пианино. Не было — но казалось, я видел

сотни старых пианино, что выстраивались над водой, как мост,
между Батнайстаном

и Алексией — она сидела на каждом пианино,
придерживая руками обе свои

груди, две маленьких бомбы.

The Prostitute's Song (from Sonya's Puppet Play)

…and as his tongue circles my nipples
in telephone booths and morning trains —

I ask for the strength to ask for nothing —
his little kisses on my hips, my elbows, my lower back,

his kisses on my eyelash, above my upper lip, my nape —
I am falling pressed under all the weight

of his little kisses between my shoulder-blades.
Such is a victory of my profession!

I pray for the strength to pray for nothing
on evening trains and in public gardens —

my eyelash, my elbow, my hips, my nape — by morning
we signed a pact of non-aggression.

Песня проститутки (из Сониной пьесы для кукольного театра)

…и его язык ласкает мои соски
в телефонных будках и утренних поездах —

я прошу сил ни о чем не просить —
его маленькие поцелуи на моих бедрах, локтях, спине,

он продолжает целовать мои ресницы, ямочку над верхней губой, затылок —
я падаю под весом всех его

маленьких поцелуев, оставленных между лопатками.
Такова победа в моей профессии!

Я молюсь о силе ни о чем не молиться
в ночных поездах и общественных садах —

утром мы вместе с ресницами, локтями, бедрами, затылком
подписали пакт о ненападении.

Похвала

…но однажды сквозь полузакрытые ворота
мы видим желтый свет лимонов
холод тает в наших сердцах, и глубоко внутри
золотые трубы солнечного света
льют свои песни.

Монтале

Дорогой близнец, время провести меня за руку
по улицам твоего города;
мои дни, твои голуби, сражаются за крошки хлеба —

*

Ночью женщина просит рассказать историю со счастливым концом.
Я такой не знаю. Беглец,

я направляюсь домой и становлюсь привидением,
ищущим свои прежние дома. Говорят —

отец отца отца моего отца был принцем
который женился на еврейской девушке

против воли Церкви и воли его отца и
отца его отца. Он стремится потерять

и теряет все: имущество, корабли,
но прячет свое кольцо (обручальное кольцо), кольцо,

которое отец передал моему брату, затем отобрал.
Передал, потом поспешно отобрал. В семейном альбоме

мы сидим, как манекены
школьников,

чье уничтожение,
как урок, откладывается.

*

Потом моя мать начинает танцевать, перестраивая
этот сон. Ее любовь

трудна; ее любить просто, как положить малину в рот.

На голове моего брата ни одного
седого волоса, он поет своему годовалому сыну.

И мой отец поет
своей шестилетней тишине.

Вот так мы, стайка воробьев, живем на земле.
Волшебник темнота находит место

у нас за ушами. Мы не знаем, что такое жизнь,
кто ее создает, реальность загустевает

от тоски. Мы подносим ее к губам
и пьем.

*

Я верю в детство, родину экзаменов по математике,
которая возвращается и не возвращается, я вижу:

берег, деревья, мальчик
бежит по улицам, как потерянный бог;

свет падает, касаясь его плеча.

Где память, старая флейтистка,
играет во время дождя, и его собака спит

с высунутым языком;
двадцать лет между жизнью и смертью

я бежал сквозь тишину: *в 1993-м я прибыл в Америку.*

*

Америка! Я кладу это слово на страницу, оно — моя замочная скважина.
Я смотрю на улицы, магазины, велосипедиста, олеандры.

Я открываю окна в квартире
И говорю: однажды у меня были наставники, они кричали надо мной —

Кто мы? Почему мы здесь?
Фонарь, который они несли, все еще сверкает в моем сне,

— в этом сне: мой отец дышит,
будто зажигая лампу снова и снова. Память

заводит свой старый двигатель, начинает движение,
и мне кажется, что деревья перемещаются.

По выпачканным углам страницы
гуляет мой учитель, сочиняя речь**;**

он втирает каждое слово в свои ладони:
«Руки учатся у земли и разбитого стекла,

стихотворение нельзя подумать, — говорит он,
смотри за светом, затвердевающим в слова».

*

Я родился в городе, названном в честь Одиссея,
я не восхваляю никакую нацию —

в ритме снега неуклюжая фраза эмигранта
падает в речь.

Но ты просила
историю со счастливым концом. Твое одиночество

играло на лире. Я сидел
на полу, наблюдая за твоими губами.

Любовь, одноногая птица,
которую я купил ребенком за сорок центов и отпустил,

возвращается, моя душа в безрассудных перьях.
О, язык птиц,

без единого жалобного слова!
Балконы, ветер.

Вот так, пока темнота
рисовала мизинцем мой профиль,

я научился видеть прошлое, как его видел Монтале,
непостижимые мысли Бога опускаются

среди боя детского барабана
на тебя, на меня, на лимонные деревья.

CONTENTS

Author's Prayer....6

DANCING IN ODESSA

In Praise of Laughter....10
Maestro....12
Aunt Rose....14
My Mother's Tango....16
American Tourist....18
Dancing in Odessa....20

MUSICA HUMANA

Musica Humana [an elegy for Osip Mandelstam]....24
Musica Humana....40
A Toast....44

NATALIA

Natalia....48
Envoi....58

DEAF REPUBLIC

From the «Deaf Republic» manuscript:
Be Courageous, We Said....62
Wherein Sonya and Alfonso Drink in the Shower....64
Alfonso Imagines his Child....66
Elegy....68
Lullaby....70
Before Galya is Arrested....72
The Prostitute's Song (from Sonya's Puppet Play)....74
Praise....76

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Молитва автора 7

ТАНЦУЯ В ОДЕССЕ

Похвала смеху 11
Маэстро 13
Тетя Роза 15
Танго моей матери 17
Американский турист 19
Танцуя в Одессе 21

MUSICA HUMANA

Musica Humana [элегия для Осипа Мандельштама] 25
Musica Humana 41
Тост 45

НАТАЛЬЯ

Наталья 49
Посланник 59

СТРАНА ГЛУХИХ

Из цикла «Страна глухих»:
Будьте храбрыми, сказали мы 63
Соня и Альфонсо пьют в душе 65
Альфонсо представляет своего ребенка 67
Элегия 69
Колыбельная 71
Перед арестом Гали 73
Песня проститутки (из Сониной пьесы для кукольного театра) 75
Похвала 77

Илья Каминский родился в Одессе в 1977 году. С 16-ти лет живет в США. Поэт, переводчик, критик, профессор. Окончил Джорджтаунский университет с ученой степенью «бакалавр искусств», получил диплом юриста («juris doctor») в Калифорнийском университете. Выступал в различных литературных центрах, колледжах и университетах США как приглашенный поэт и преподаватель. В настоящее время преподает литературное творчество в университете Сан-Диего.

Автор сборников стихов «Musica Humana» (Chapiteau Press, 2002) и «Dancing in Odessa» (Tupelo Press, 2004), за который был удостоен премий Whiting Writers' Award, The American Academy of Arts and Letters Metcalf Award, The Ruth Lilly Fellowship и The Dorset Prize. Кроме того, в 2005 году журнал ForeWord Magazine назвал «Dancing in Odessa» книгой года в области поэзии. Стихи Каминского регулярно публикуются в периодических изданиях США.

ISBN 978-0-9839762-8-1